

Виктор Потанин

## БОРЯ – МАЛЕНЬКИЙ И ДРУГИЕ



Давно уже собирался о них написать. Но сборы всегда затягивались, да и мучило сомнение — сумею ли? Ведь нужны особенные слова! А где они?... Вот если бы сказать об этом стихами! Но стихами не суждено — не владею... Да и можно ли лучше, чем у Ахматовой? Вы помните: «А вы, мои друзья последнего призыва! Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена!» Я не могу читать это без спазма в горле. Но вы найдите человека, который может... Впрочем, самое сильное в этом стихотворении — это все же конец. Он, как набат! Как заклинание! Как разговор с собственным сердцем!

«Да что там имена! Ведь все равно — вы с нами! Все на колени, все! Багряный хлынул свет! И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами — живые с мертвыми: для славы мертвых нет». Как это пронзительно точно — и о мертвых, и о живых... Но я могу писать, имею право, только о живых. И о том, конечно, что видел, что пережил вместе с ними в ту холодную зиму сорок второго... И все-таки шли месяцы, годы, а я все не решался. Иногда даже садился за стол, брал в руки листочек и писал на нем несколько слов, предложений, но дальше дело не шло. Слова были какие-то хилые, без дыхания. И я себя ненавидел, не находил себе ме-

ста. А потом и вовсе потерял веру: наверное, не суждено мне, не суждено. Но вот недавно. Впрочем, расскажу все по порядку.

# I

Недавно, выступая в одной из курганских школ, я вдруг стал вспоминать свое детство, военные годы. А началось неожиданно: одна бойкая пятиклассница с узкими глазенками, как у лисенка, спросила меня в упор:

— А вы в войну у партизан были?

— Что ты, милая! — поразился я до испуга. — В войну мне было всего... всего восемь лет.

— Но вы же седой... — В классе все засмеялись, а девочка-лисенок обиделась:

— Надо же, не спросить...

И мне захотелось ее утешить. Но я не успел — отвлек мальчик с передней парты. Он выглядел независимо.

— А магнитофоны у вас в войну были? Расскажите, какая марка?

— Да что ты?! — я почти закричал на весь класс. И почувствовал, что бледнею. Стало жарко в груди. — У нас и бумаги-то настоящей не было. Да, да! И бумаги... Мы писали на старых газетах, обертках. И поголодать пришлось. И мерзлую картошку попробовать, и щи из крапивы... А чернила мы наводили из сажи. А карандаши сэкономили: каждый карандаш резали на три части. Потом делили между собой...

Но договорить я не сумел. В классе сделалось шумно. Я поднял голову и посмотрел вперед. Посмотрел — и сжался от боли: меня же почти не слушали! Каждый был занят собой: один заполнял дневничок, другой нетерпеливо покашливал, третий меланхолично смотрел в окно. И глаза были пустые, холодные. Их мало занимали мои слова — как будто я рассказывал им о далекой эпохе наполеоновских войн. Можно слушать, а мож-

но и прочитать на двадцатой странице в учебнике... И во мне все поникло, я себя ненавидел. Я для них сейчас — скучный дяденька-резонер. Но почему? И тут на выручку мне бросилась та бойкая — лисенок.

— А у вас в деревне была музыкальная школа?

— В войну, что ли?

— Аха. — Она оглянулась беспомощно, ожидая поддержки. Но класс шумел, и тогда я стал отвечать одной ей, только ей...

— Такой школы, конечно, не было. А вот патефон у нас был. Привезли с собой ленинградцы. Эвакуированные...

— А что такое эвакуированные? — Опять этот лисенок. Она смотрела в упор и ждала ответа. И я что-то буркнул и стал прощаться. Это походило на бегство. Но я не хотел больше говорить в пустоту. Да и день был ясный, протяжный, на небе ни облачка. И там, в вышине, кружились беззаботные голуби. И я им позавидовал — им хорошо, им легко, остались на земле все невзгоды, печали, а впереди — только воля и небо, у которого ни конца, ни начала. И кажется, будет вечной эта синева, этот полет.

И пока шел до дома, болела и страдала душа. Ну почему же им безразлично?

Ну почему, почему?.. И эти вопросы давили, как камень. И ничего меня не радовало, не утешало. А ведь должно бы, должно бы... Ведь через три дня вступал Новый год, и везде стояло голубое сиянье. Оно было всюду: и на земле, и на небе. Оно шло и от елки на нашей площади, и от витрин магазинов, и от улыбок. И от надежды, которая в эти дни запрятана в каждом взгляде. Даже у голубей чудесное настроение, ведь скоро будет тепло и прибавится день. Даже птицы! А что уж там люди... А мне все равно тяжело. Ну почему, почему же им все безразлично?.. Почему я сбежал от них, почему?..

Эти вопросы не отпускали и ночью. И я уже корил себя, не прощал, что не рассказал в школе о ленинградцах, — но ведь опять бы, наверное, не слушали, не поверили... И в этот миг в соседней комнате вдруг ожило пианино! Моя Катя играла Шопена. Точнее, не играла, а жила им, страдала. И это страдание взяло меня в долгий и бесконечный плен, и моя душа и музыка уже жили вместе и скоро они слились в один медленный и чудесный звук, но успокоенье не приходило... Нет, не может наша надежда без памяти прошлого. Не может...

Вот она сейчас рядом — моя дочь — на расстоянии дыхания. Вот она сидит, играет Шопена в теплой уютной квартире, а ведь она тоже могла бы быть среди них, среди нас, родись бы пораньше. «Да, могла бы, могла бы, — стучит мое сердце, волнуется. — Могла бы...» Сердце бьется глухо, толчками, потому что знает еще какую-то свою, самую последнюю правду. Она, видно, осталась там, далеко-далеко, в холодных военных метелях. В той разутой и раздетой деревне, которая приютила тогда ленинградских сироток. Они называли себя эвакуированными, но мы их всегда называли сиротами. Они обижались на это, но что их обиды. Если они уже испытали самое страшное — и блокаду, и немецкие пули. Если их имена стоят уже в классном журнале моей родной школы... «Да что там имена! Ведь все равно — вы с нами! Все на колени, все! Багряный хлынул свет! И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами...»

## II

Нет, сильнее уже не скажешь — «багряный хлынул свет...» Стал повторять эти слова, но перехватило в груди. Я от боли зажмурился. И в этот миг вдруг увидел их. И почему-то в первых рядах поднимался Вовка Адалечкин. Почему он? Я не знаю. Может, потому, что был самый шумный, веселый. И главный выдумщик, заводи-

ла. А может быть, потому, что он нас слегка презирал. Я как сейчас вижу — Вовка усмехнется и вытянет губу: «Да что вы тут видели? Сено-солома...» И он был прав. Я, например, в то время не видел еще ни города, ни паровоза, даже и на машине-то в кабинке не ездил. А за Вовкой был Ленинград. Вовка уверял, что в одном ленинградском доме поместилась бы вся наша деревня Утятка. И мы ему верили, мы завидовали...

Вот Адалечкин бежит к классной доске, а ведь его не вызывали. Но что ему — он же ленинградец. Им все можно — они же сиротки... Это Вовка-то сирота? Совсем не похоже! Вот он стоит у доски и жестикулирует, закатывает глаза. Потом встает на руки и так ходит по классу. Мы хохочем, а он счастливый. А наша учительница стоит в сторонке и вытирает слезы. Ей и жалко его, и обидно: ну разве можно так, на руках? А потом Вовка хватает мел и начинает рисовать на доске. Это карикатуры на всех нас. И как похоже! А ведь он знает класс всего неделю. Но сколько же дней в неделе?

Да, ровно семь дней назад мы их встречали. Стоял мороз, а сверху с неба падали мертвые, застывшие птицы. Теперь уж таких морозов не будет, и такого горя тоже не будет... А потом на дороге показался автобус. Он шел медленно, почти крадучись, еле-еле пробивая сугробы. И вот открылась дверка, и в проеме двери показалась наша директор школы Варвара Степановна Иванова. Вид у нее был уставший, замученный. От Кургана до нашей Утятки они ехали почти восемь часов. Это сорок-то километров! Но дороги не было, ехали по снежной целине...

А потом показались и ребяташки. Некоторых выносили прямо на руках - пугливые несчастные глаза, серые щеки. Много было больных, покалеченных. Блокада сделала свое дело. Да и ехали долго: от Ленинграда до Кургана добирались около месяца. Вагоны были

продувные, холодные... И у нас отойдут ли они, согреются?

И вот уже отошли душой, согрелись. А Вовка Адалечкин уже смешит целый класс. Учительница смотрит на него умоляюще, а потом обращается к нам:

— Ребята, мы должны любить наших новеньких, не обижать... Мы пришли им на выручку в трудный час...

И в это время гремит звонок. Вовка Адалечкин машет руками, а потом выскакивает в коридор. Мы следим за ним — все-таки новенький. В коридоре он встречается со своей подружкой Лидочкой Костиковой, мы ее видим уже неделю, но привыкнуть не можем... Она такая печальная, жалкая. Позвоночник у ней изуродован — то ли пуля, то ли контузия. А в глазах все время играют искорки — кажется, она зла на весь мир. Вот они стоят рядом и шепчутся. Два маленьких заговорщика. Вовка дает ей какое-то задание — Лидочка кивает головой, соглашается. Скажу сразу об этом задании: Вовка просит насыпать в питьевой бочок бертолтовой соли. Мы об этом, конечно, не знали еще, не догадывались. Поэтому и пили без всякого опасения. Раз стоит вода — почему не пить... И вот прошел час, может, меньше — и начался ад. В животе — прямо огонь, и он готов спалить заживо. И на следующий день пришла та же казнь: желудок лезет в горло, и нет дыхания. Один Адалечкин не болеет. Это его и выдало... Как они были изобретательны! И как несчастны!

А через несколько дней мы узнали, что все родные у Лиды и Вовки погибли. Все, все! Невозможно представить. Вот почему, наверное, и мстили нам наши новенькие... За то, что мы не слышали свиста бомб, за то, что жили мы так далеко-далеко от войны... И за то, что тогда совсем не про нас писали стихи. И какие!.. «Все на колени, все! Багряный хлынул свет! И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами...» Да, так и было! Они шли и шли вперед. И мы с ними... И каждый чувствовал

плечо другого. И одно дыхание переходило в другое, а потом все дальше и дальше... И так до тех пор, пока недоверие не сменилось любовью. Спасибо им за эту любовь!

### III

Спасибо тебе, Боря Смирнов, за то, что мы узнали тебя, а через тебя — Ленинград. Ведь города — это люди, которые живут там. Если люди живут хорошие, добрые, значит, хорошие и города...

Но мы его звали почему-то не Боря, а Боренька. Но чаще всего — Боря-маленький. Хорошо помню: он так притягательно улыбался. И глаза его всегда излучали какой-то свет, нет, не свет даже — сиянье. Я не видел никогда больше такого взгляда. А иногда он задумывался и как бы начинал вспоминать. Но о чем он? И как старело, как менялось лицо. Не то ребенок, не то старичок. И если бы не глаза...

Но на кого же он походил всегда? Да, тяжелый вопрос. Но еще тяжелее сейчас признаться, потому что мне он всегда напоминал деревянную чурочку: голова слилась с туловищем, а вот ног не видать. Так и было: наш Боренька Смирнов жил без ног. Когда везли в эшелоне, он их отморозил. И пока добирались до Кургана, началось воспаление, гангрена. И если бы ноги не ампутировали, Боря бы умер. Врачи в Кургане пообещали ему, утешили: «У тебя, мальчик, еще вырастут ножки. Вот пройдет два года, и они снова появятся. И ты побежишь на своих...» Это была ложь во спасение, но я за это не осуждаю. К тому же Боря врачам поверил.

А пока в школьной мастерской ему сделали тележку на железных колесиках. Я помню, как Боренька привыкал к ней. Но как привыкнуть! Вначале его привязывали к тележке тугим полотенцем и просили отталкиваться деревянными рычажками. Но он терял равновесие и начинал сразу хныкать, поскуливать, точно ребенок. А

он и так был ребенок: Бореньке Смирнову исполнилось только четыре года. Только четыре, а уже — лицо старичка.

И все-таки Боренькина тележка поехала. Мы привязали к ней за самый мысик веревочку — и покатилась телега, поехала. У Бореньки сияют глаза и смеются. И мы тоже смеемся.

Но больше всего мы любили его таскать на руках. Прижмем его к груди и бежим в лес или купаться — к Тоболу. Боренька лежит беспокойно и громко дышит. Я и сейчас помню, как на груди у меня бьется что-то горячее, жаркое... И чуть слышно поскрипывают зубки от нетерпения. И сияют глаза. Как он любил лес и поле! Но еще больше он любил спрашивать, пытаться встречного человека: «Тетенька, посмотри внизу — у меня ножки не показались?» И если встречающая оказывалась умной, догадливой, то всегда отвечала: «Показались, Боренька, показались...» И он сразу смеялся, что-то бормотал про себя и снова смеялся... Святая, добрая душа. Где ты теперь? И жива ли? Но кто-то мне отвечает: едва ли жива... А я не верю. Нет, не верю! Как не верю и в тот самый страшный день. Самый страшный за всю войну. Но я расскажу об этом позднее, позднее. К тому же в нашем классе сегодня новенькая. Она приехала к нам вместе с мамой — ленинградской учительницей. Мария Николаевна будет преподавать в старших классах химию и биологию. А к нам, к самым младшим, она привела свою дочь. Сказать точнее — Ната Долинская сама к нам пришла. Открыла классную дверь — и вот уже стоит на пороге. И мы не можем отвести глаз от новенькой. И такая сделалась тишина, как перед сильным дождем. Долго ждали и дождались. Но разве ждали мы?.. Разве ждешь ведро, когда ненастье с утра до вечера. И вот еще день прошел, а потом еще и еще.



Но ничего не меняется: с самого утра опять дождь, опять хмарь. И уже кажется, так будет всегда, даже навечно. Но вот что-то промелькнуло там, наверху, что-то треснуло, — и в эту трещину хлынул луч. Да такой сильный, пронзительный, даже больно глазам. Так и мы: все смотрели на Нату, не верили. Неужели она к нам? Неужели?.. Новенькая что-то поняла и опустила голову. Но все равно... Все равно мы уже все влюбились в нее и потеряли покой. И вот прошел месяц, потом еще месяц, и только теперь мы поверили, что Ната учится с нами, что можно даже заговорить с ней, можно даже потрогать ее косички. Да, потрогать, чтобы понять, что это не сон. Ведь такие лица, такие глаза, такие волосы бывают только во сне. Их нельзя описать, их даже нельзя представить. Одним словом — чудо и красота...

И вот однажды закончилось чудо: в конце войны Долинские уехали в Ленинград. Я не помню тот день, потому что все взяло горе. И никого не хотелось видеть, даже мать с бабушкой не хотелось... И чтоб ни с кем не встречаться, я спрятался в пригон у коровы. Да что уж там спрятался... Я просто упал на сухое сено и разрыдался. Я стонал и вытирал слезы, но они не кончались. А потом сделалось еще хуже, больнее. Да что говорить — мне уж жить не хотелось, я себя ненавидел. И чтоб прекратить эту боль, стал биться затылком о жерди. Не помогло, только напугалась корова. Она начала мычать, поднимать рога, а потом наклонилась ко мне и стала облизывать щеки. Язык у ней был твердый, шершавый... И вдруг дошло до меня: если Ната уехала, значит, скоро и все они, ленинградцы, тоже уедут. Уедут, бросят нашу Утятку, уедут! И опять стало горько, невыносимо. И опять из глаз — слезы. Хорошо, хоть никто не видел. Совсем распустил себя, как девчонка... И опять надо мной задышала корова, Манька, наверно, жалела меня, ну, конечно, жалела. И я уже тоже жалел

себя. Жалел, приговаривал: «Никому ты теперь не нужен, совсем никому... Вот они скоро запакуют рюкзачки, чемоданы, потом помашут на прощанье руками... Помашут тебе, а ты-то останешься. И так будут идти год за годом, а ты все будешь жить в этой голодной и холодной деревне, в этих глубоких снегах — сугробах, будешь жить одиноким сироткой...» И это последнее было правдой. Горькой и безутешной правдой, ведь судьба наградила нас уже двумя похоронками: от моего отца и от дяди Жени, родного брата матери. Он погиб там, откуда они приехали. Под Ленинградом нашла его смерть... И теперь нам некого ждать, совсем некого... А потом вдруг пришло забытьё. Очнулся я от голоса бабушки. Она сидела рядом со мной и поругивала корову: «Ну че ты такая лямзя. Неуж не видишь, как парень-то наш убивается. Да че же такое с ним, почему?.. Да ты бы хоть, внучок, мне намекнул...» — это уже ко мне обращается, это ко мне идет ее голосок. И этот медленный голосок, как награда.

Но самый лучший голос из всех был все же у Вали Руденко. Как сейчас вижу: вечер, горит лампа-семиленнойка. Мы сидим в классе, притихли. Из интерната принесли материал — голубые и зеленые лоскуточки. Вот из них мы нарезаем носовые платки, шьем кисеты. Тут же сооружаем посылку. Она получилась на славу. Местные, деревенские принесли несколько пар носков, рукавичек. В эти рукавички вкладывали свои письма-послания — «дорогому бойцу на память...» Здесь же ребята-художники выпускали бюллетень «Все для фронта». В нем мы печатали разные новости: писали и об успеваемости за неделю, и о сдаче металлолома, и о делах тимуровских, и о нашей помощи родному колхозу... Но особенно много писали о сдаче металлолома. По этим делам Утятская школа занимала одно из первых мест по Сибири. О своих успехах мы рапортовали товарищу Сталину. Он откликнулся и послал ответную

телеграмму-благодарность на имя Бориса Волкова, Анны Сомусевой и директора школы Варвары Степановны Ивановой. В телеграмме стояло несколько слов: «Ваш металлолом пойдет на строительство танков...»

В посылки мы часто вкладывали сухую морковку и семечки, — пощелкай, мол, далекий боец, наш утятский подсолнух. И вот уж в лампе керосин выгорел, и фитилек стал дымить, колебаться, а мы все не расходимся. И вот в наступившей тишине начинается песня. Она громкая и внезапная. Она берет прямо за душу, и ты уже не можешь вырваться из этого плена, да и за чем... Ведь тебе так хорошо, так чудесно, только немного печально. У Вали Руденко был удивительный голос, только все же печальный. Ну и пусть, пусть. Я уж давно заметил, что самый хороший, замечательный голос, о чем бы он ни пел, о чем бы ни рассказывал в своей песне, всегда оставляет после себя печаль и какую-то тайну. И всегда, почти всегда разгадать это совсем невозможно. Наверное, не знает ее и сам певец. Просто тайна эта в самой крови его, в его дыхании, в самой жизни его — в судьбе... Как-то сразу после войны в наш Курган приезжал Сергей Лемешев. Я был на этом концерте, слушал это пение, но лучше бы не был, лучше бы не слушал. Помню: после этого концерта в моем городе вдруг все изменилось. Я шел тогда домой и не узнавал своих улиц и переулков. Все стало каким-то маленьким, низеньким, каким-то даже горестным и пустышным. И своя личная жизнь тоже почему-то сжалась и потускнела. И сразу же поселились в душе вопросы: «Ну почему ты сам такой серенький, бесталанный? Да и зачем ты родился на белый свет? Для чего?» И было так горько, хоть накладывай на себя руки. Но все равно, когда прошел тот внезапный порыв, захотелось сделаться другим, совсем другим человеком... И сделать что-то хорошее людям.

А что именно сделать — я не знал. Но все равно это желание уже жило во мне, просилось на волю. Еще миг — и оно вырвется, выпорхнет, как птенчик из-под скорлупки. И, наверное, потому так напрягалась, так томилась душа. Ведь ей всегда нелегко — нашей душе. Особенно, когда рядом жил, звенел такой голос. Да, очень чудесно, очень пронзительно пела Валя Руденко. И все же в ее голосе время от времени поднималась печаль. Наверное, Валя тосковала о доме: о Ленинграде, о своих близких, которых разметала блокада, тосковала о всей своей жизни, которая начиналась в такой горе, в мучениях... И все же печаль длилась недолго. Сквозь нее пробивалась надежда — особенно тогда, когда Валя стала петь народные полтавские песни. И ее голос в это время уже не томился, не плакал, а наоборот, звенел, поднимался все выше и выше. Нам казалось, что звенит колокольчик... Он и сейчас все еще звенит во мне долгим серебряным звоном. И на этом звоне — на этом колокольчике — можно бы и поставить точку в нашем рассказе, но я все же продолжу. Да и виноват Новый год, а может, и этот Шопен со своей замечательной музыкой, которая закинула душу на самые облака. А совсем близко, почти под самыми окнами, поднималось к небу огромное сияние — это горела в огнях городская елка. Я засмотрелся на нее, на это голубое, зеленое, на это невыразимое пламя, а сам уже... все вспоминал, вспоминал ту далекую елку сорок третьего года. И ту холодную зиму, и те снега, которые заметали с головой деревенские крыши. И чтоб вырваться из дома, надо было сначала откопать дверь, потом сделать в снегу проходы, а потом уж только открыть ворота: «Эй, живые кто, выходите!» Но не все уже были живые. На моих глазах привезли в интернат двух девочек-близнецов. Они местные, из нашей деревни. Конечно же, Утятский интернат создали в первую очередь для приезжих, но в крайних случаях здесь принимали и де-

ревенских. А близнецы — крайний случай. Девочки были дочери колхозницы Феклы Поповой. Она умерла недавно от истощения. А девочки тоже — прямо скелетики. Но дыханье еще есть и глазенки моргают, может, и повезет им — поправятся...

На моих глазах провезли на санках старушку — мать колхозницы Екатерины Поповой. Гроба нет, тело прикрыто рогожкой. И одежды на теле нет — пригодилась рогожка. А то, что без гроба, — это привычно. В деревне давно нет ни досок, ни дров, а в печки суют только мерзлый кизяк. А от него — один дым.

И чад... «Ничего, перетерпим, — говорят старики. — На фронте еще хуже, тяжелее...»

А с фронта идут одни похоронки. Только за последние месяцы сколько их: погиб Александр Шевалдышев — у жены Антонины пятеро ребятишек; погиб Дмитрий Луканин — в семье тоже пятеро малышей; погиб Кузьма Трубин, а его дети Николай, Анна и Виктор, говорят, уже опухли с голоду, и в доме холодина. Выживут ли? Не буду гадать... Сгорел в танке Иван Репин, сгорел в самолете Яков Менщиков, умер от ран Новгородов Василий... Принесли похоронную и на школьного математика Анатолия Петровича Макарова. Оставил сиротами четырех детей. Зато в семье еще осталось ружье. Жена учителя, Анастасия Михайловна, стреляет из ружья ворон и сорок. Это для семьи — основное питание. Сидишь, бывало, дома и вдруг под самыми окнами — хлоп!

Ружье не ружье — даже страшно. А бабушка моя только вздохнет и головой покачает: «Еще одной вороны на свете нет. А тоже ведь была живая душа. Ничего, Анастасия Михайловна, вот январь проживем, а там уж полегче. И морозы, может, убавятся...» — Это бабушка обращалась к хозяйке ружья, но та ее, конечно, не слышала.

А январь начинался с елки. И тот далекий год, сорок третий, тоже начинался с нарядной елки, на которую пригласили нас ленинградцы. Какие они счастливые, эти приезжие! У них в интернате и елка лучше, чем в школе, у них и патефон играет, у них даже дают подарки...

И вот началось! Я пришел сюда вместе с бабушкой, а все равно — страшновато. Да и пугает сильная тишина. Людей много, но все молчат. Но вот патефон играет песню о Ленинграде, и нас приглашают в большую комнату. Мы входим туда и замираем: елка горит от игрушек, от блесков, на ней — различные фигурки из дерева, разноцветные шишки, шары. Говорят, что она была еще лучше, красивее. Приезжие наделали много бумажных цепей и покрасили их в золотые цвета, но приехал инспектор из района и велел все цепи убрать. Он сказал, что цепи — символ закабаления. Но и без цепей зеленая красавица хороша! И все равно кругом тихо, мы почему-то даже боимся дышать. Но зато наши глаза! Они все видят, все замечают и следят за движением хозяев. Они стоят пока почему-то отдельно. Вот они — целый ряд: впереди всех директор интерната Назарова Антонина Владимировна, рядом с ней воспитатели Фаина Ароновна Корман и ее сестра Раиса Ароновна, а возле них, переминаясь на раненых ногах, стоит недавний фронтовик Батиков Илья Васильевич... А по другую сторону комнаты сошлись вместе директор школы, наша любимая учительница немецкого языка Анна Васильевна Котова и моя мать — завуч школы, Потанина Анна Тимофеевна... А посреди комнаты, почти в метре от елки стоят те, ради которых и намечается торжество. Здесь и Юра Юдин, и Лотта Корман, самая знаменитая отличница в нашей школе, а рядом с ними улыбаются два брата Николаевых со своей сестренкой Валенькой. Ей всего лет шесть или семь, а братья постарше. Рядом с Николаевыми стоит вся пунцовая Валя

Руденко, наша артистка. Ей много петь сегодня, и она очень волнуется. Чуть поодаль — Люся Елифанова, тоненькая, худенькая, похожая на стебелек травы. А дальше располагаются кучкой все деревенские — и ребятишки, и взрослые. У многих на руках даже грудные дети, совсем малышня. Их берут в надежде на дополнительный подарок. Так потом и случается — самым маленьким из гостей дается больше всего... Как это правильно и хорошо. Так будет и сегодня, обязательно будет. И вот все мы ждем и томимся: до открытия елки еще полчаса. Как это долго, невыносимо. И чтоб скоротать время, я наблюдаю за матерью. Ее глаза блестят и все замечают. Я не знал тогда, что она ведет дневничок. Да если и узнал бы, то не понял бы, зачем тратить время на эти странички. Конечно, не понял бы. А вот недавно, перебирая старые бумаги и фотографии, я нашел ту тетрадку. Открыл — и уже не мог оторваться. Простые слова, а сжимается горло. Неужели это было когда-то, неужели пережили такое! И неужели столько горя, страданий... Но мать писала и о хорошем, и о счастливом, и о надеждах. Особенно, конечно, о надеждах, ведь хотелось дожить до победы. Я читал и думал: «Откуда они брали силы, откуда?». Но давайте вместе со мной еще раз заглянем в тот дневничок, ведь до открытия елки еще полчаса, и у нас много времени, очень много...

#### IV

Мать писала и о своей семье, и о школе, много на этих страницах и о приезжих. Да, да, о тех, кто стоял у нашей елки в самом первом ряду... Мать писала: «У нас в школе праздник — приехали ленинградцы. Вместе с детьми приехали и воспитатели — учителя из города Ленинграда. Мы смотрели на их, как на чудо, как на какое-то откровение, ведь они ходили по улицам, которые видели живого Пушкина, Блока. Они дышали воз-

духом Эрмитажа... Какие они счастливые! И какие несчастные, ведь им придется жить в наших снегах и метелях. Как-то им поживется, да и отойдут ли от тяжелой дороги... Но главное, конечно, не в этом, а в нашем волнении. Привыкнем ли мы к ним, сработаемся ли?.. Но мои сомнения, кажется, напрасны. Вчера в школу заходила Антонина Владимировна Назарова — директор интерната. Она просила за своего сына Толю. Его надо устроить во второй класс.

В школе была большая перемена, и все окружили гостью — и учителя, и ребяташки. Антонина Владимировна для каждого находила хорошее слово. Это выглядело от души — сердечно и просто. Она и внешне понравилась нам, заворожила. Особенно запомнились волосы: они у нее под цвет спелой соломы. И коротко подстрижены, чтоб не мешали. И глаза ее тоже всех поразили: они большие, открытые, с каким-то особенным блеском. Кто-то сказал из нас: как у артистки... И я тоже так считаю. А вот голос у Назаровой грубоватый, с мужской хрипотцой и твердыми нотками. И во всей фигуре слышится тоже какая-то неженская сила. Да и одежда на нашей гостье особенная: дубленый полушубок, на голове шапка-ушанка, а стеганые брюки заправлены в серые плотные валенки. Ни один мороз не возьмет. Так и надо по нашей погоде. Мы слышали, что до войны она была депутатом Ленинградского городского Совета. Антонина Владимировна этот слух подтвердила.

Вместе с Назаровой приехала Фаина Ароновна Корман. На вид ей уже лет тридцать, но можно дать и побольше. Причина, конечно, — война. Волосы, когда-то очень темные и волнистые, теперь совсем поседели. И глаза смотрят внимательно, исподлобья — и в них застыло что-то печальное, горькое. Глаза видят, как говорится, насквозь. Но бывает, что в глазах у нее — радостно и светло. В это время глаза смотрят на дочку.



Лотта у нее — красавица, умница. С первых дней она стала гордостью школы.

Фаина Ароновна оказалась чудесным воспитателем. Каждый день она бывает в школе. Часто присутствует на уроках в классах, где учатся ленинградские дети. С большим тактом потом разбирает уроки. Это, конечно, большая помощь местным учителям. Да что говорить! С интернатом у школы — прекрасная связь. Мы живем как одна семья. Как братья и сестры: один за всех, и все за одного...

Часто бывает в школе и завуч интерната Мария Никаноровна Долинская. Ах, какой это человек! Такие люди бывают, наверное, только в Ленинграде. В наших краях я таких еще не видала. Ничем природа ее не обидела, наградила с избытком. И душа, и лицо, и голос!.. Все бы смотрел на нее, любовался. Вот она, стоит прямо в глазах: высокая, слегка полноватая, с красиво подстриженными каштановыми волосами, а кожа на лице, как говорят, кровь с молоком! И всегда Мария Никаноровна веселая и смеющаяся: горе — не горе, мол, и беда — не беда. От нее постоянно шел какой-то пронзительный свет доброты, сострадания. Даже не передать мне — надо видеть ее лицо... И голос мягкий, податливый. Говорит она быстро, слегка запинаясь, и в это время сияют глаза, притягивают. Такой голос, такие глаза бывают только у добрых людей. Так и есть! Всех любит Мария Никаноровна и всех жалеет, и всем хочет помочь. Такая же и дочка у нее — наша ненаглядная Наточка. Ее у нас все знают и любят.

А дел у Марии Никаноровны — целые горы. Она и в школе у нас, она и в интернате. И любая работа у ней ладится и со всеми живет в согласии. А для ребяташек — просто как мать. Она знает абсолютно все о каждом своем воспитаннике: черты характера, склонности, увлечения. Много доброго она сделала и для местных детей. К примеру, были сверху строгие указания: все спи-

санные интернатские вещи рубить или даже сжигать. Но завуч пошла на нарушения: стала списанную одежду раздавать утятским ребятишкам. А те и рады: ведь ходят в школу в ремье...

Вот, кажется, обо всех воспитателях я рассказала... Но нет, нет, все-таки не обо всех. Я совсем забыла Раису Ароновну Корман. Их ведь двое у нас сестер: старшая — Фаина Ароновна, а младшая — Раиса. Так вот младшая — такая мастерица, такой организатор! Она и песни разучивает с ребятишками, она и книги читает вслух. Она и художница, рукодельница. Недавно елку стали наряжать, так просто любо смотреть на Раису Ароновну. Она и куклы мастерит, и какие-то цепочки, кораблики... А елку привез нам из бору наш школьный конюх Карпей Васильевич. И вот уж наша елочка одета и разукрашена и ждет, поджидает гостей...»

И теперь давайте на этом прервемся. Закроем на время нашу тетрадку. Да и прошли уже те полчаса, и скоро-скоро начнется праздник.

## V

И вот уж начался. Варвара Степановна объявляет елку открытой. Мы хлопаем в ладоши, обнимаем друг друга. Какая радость! Какая елка! А потом объявляют концерт. И опять поют песню о Ленинграде, читают стихи. Меня тоже просят выйти поближе к елке, — и я читаю стихи Пушкина о зиме. Читаю громко, до боли в горле, но мне кажется, что так и надо читать стихи. А после меня уж поет Валя Руденко. Это чудо! Если б вы слышали, как она пела... Звонит колокольчик, звонит чистое серебро и навеивает вам сны. У многих в руках платочки, и они осторожно вытирают глаза. А Валя все поет и поет. Где же она сейчас? Где звонит это серебро-колокольчик?.. Много бы я дал, чтобы знать.

Прошел еще час, и закончился новогодний концерт. Сколько же он длился?! Показалось, всего миг... Все

дорогое, хорошее продолжается всего только миг... А время ведь уже позднее — надо домой. Школьный конюх Карпей Васильевич запрягает нашу Серуху и начинает всех развозить. Это дело серьезное, нужное. У многих из гостей на ногах нет нормальной обуви, а на дворе мороз.

И вот доходит очередь до меня. Мы залазим с бабушкой в коробушку, Карпей Васильевич щелкает кнутиком — и вперед. Скрипят полозья, сверкают снега. Я смотрю на луну, и мне кажется, что там ходят какие-то люди, но мне не страшно. Наоборот, мне весело, мне хорошо, да и угостили нас ленинградцы на славу. Даже булочки были из настоящей муки. Да и концерт понравился, и самому пришлось выступить, и мне все хлопали... Как хорошо! Сверкают снега. А в горле у меня — спазм от волнения, да и бабушка рядом. Она укрывает мне ноги шалью, а сама что-то шепчет. Может, молитвы за спасенье тех, кто сейчас в ленинградских снегах. «Ты б, Женя, горло-то свое получше закутывал, а то морозец хватается... Ну, Женя, прямо не знаю, — я тебе шаль свою отдала, а ты от нее отделаться хочешь, а ноги-то уж, наверно, как глызки. Нехорошо так, ишь какой непокорный. Вот вырастешь — и управы не будет...» А я слушаю бабушку и улыбаюсь. Ну какой же я Женя? Так зовут ее сына, на которого недавно пришла похоронка. И вот уже путает нас, а поправить ее не решаюсь... Но мне все равно хорошо. Да и ночь плывет тихая, голубая, совсем новогодняя ночь...

И вот на этой ночи можно бы сейчас и закончить, но мне что-то еще мешает. Я подхожу совсем близко к окну и поднимаю высоко штору. Горит наша елка — пылает до неба. Голубой и зеленый свет. И еще красный, желтый, сиреневый. Счастливый огонь — новогодний огонь... А какой же свет был там, в Ленинграде? Багряный? Да, да, багряный, как кровь... Потому и написал

поэт: «Все на колени, все! Багряный хлынул свет! И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами...».

## VI

И в этом ряду я вижу лицо Юры Юдина. Вот оно рядом — можно даже дотронуться. Красивое, ясноглазое, как у капитана Гастелло. Он и душой своей походил на чудесного летчика и так же ненавидел фашистов...

И вот я начал рассказ о Юре, а сам боюсь: сумею ли, хватит ли нервов? Ведь я сказал уже впереди, что у меня был самый страшный день в те далекие годы. Так вот, признаюсь сейчас, этот день связан с Юрой.

Как мы, деревенские, любили его! И как гордились! Нам казалось, что он самый смелый, самый бесстрашный. Ему было лет двенадцать-тринадцать, но мы знали, что он в Ленинграде уже дежурил на крышах и сбрасывал зажигалки. А это ведь те же бомбы...

Он приехал к нам вместе с мамой, и та устроилась в интернате. Работа тяжелая — с утра до ночи на кухне. Она и за повара, и за техничку, а по ночам ухаживала за больными. Вот и сдало сердце, не выдержало... Да и как ему выдержать, когда за плечами блокада. И вот однажды Юра проснулся, а мама не дышит. Он подошел поближе к кровати — не слышно дыхания. Он схватил ее за руку — ладонь была ледяная. И тогда, потрясенный, он закричал и кинулся прямо к двери. Они жили на первом этаже интерната, и Юра выскочил сразу в ограду. Он выбежал раздетый, разутый, в одних тонких носочках. Он не медлил, потому что принял решение. Но что было потом — я не знаю. Одно только помню, как он страшно кричал, как разбудил всю деревню. Его крики услышали в каждой избе, да и как не услышать! Часто говорят: у меня кровь, мол, застыла в жилах. Так и было тогда, так и случилось: во мне тоже кровь остановилась, и пришел страх. Такого страха я никогда не знал еще, не испытывал. И закричать бы надо, но не



Значит, все-таки есть! Значит, оно в том, чтоб однажды после долгой-долгой разлуки вернуться домой. И хорошо, что он есть, что он есть — этот дом! И уж совсем хорошо, что этот дом зовут Ленинград.

Вот на этом великом слове я сейчас и закончу. Как я любил всю жизнь это слово, как я люблю... И пусть проходят месяцы, годы, а это слово все так же сияет для меня, как та елка в том незабываемом сорок третьем... Ленинград, Ленинград... Ты и мужество, ты и сила, ты и детство мое, ты и поэзия — мои самые дорогие, сокровенные строки. Да, это правда... Как-то гостил у меня ленинградский поэт Глеб Горбовский. Мы пили с ним чай из большого белого самовара и читали стихи. Верней, он читал, а я слушал. И вся семья моя слушала, потому что стихи его — наша любовь... А потом мы говорили, вспоминали о разном, и я признался:

— У меня ведь много дорогого связано с твоим городом. И война, и детство, и даже друзья...

— А ты помнишь?.. — вдруг спросил он и стал читать медленно, с придыханием:

Все на колени, все!

Багряный хлынул свет!

И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами —

Живые с мертвыми: для славы мертвых нет.

Да, я помнил, хорошо помнил это. И я не забуду! Нет, не забуду! И вот сейчас опять все повторилось: я смотрю в окно, а там тихая звездная ночь. И весь город в огнях. Они в сумраке кажутся какими-то чудесными, ирреальными. И все они — разные: красные, желтые, голубые. Я смотрю на них, а сам все вижу, вспоминаю опять другие огни... и другие глаза. Это глаза моих далеких друзей, глаза ленинградцев. Я никогда не забуду. Да-да, давайте же никогда не забудем их, детей славного Ленинграда! Давайте же! Я обращаюсь к вам, мои земляки. И к вам, мои знакомые и незнакомые школьники, и к тебе, моя бойкая пятиклассница с глазами лисенка. Не забудем и понесем вперед нашу память.